

A man with a beard and a woman with blonde hair are standing in a city street. The man is wearing a white t-shirt with a large graphic of a caduceus (a staff with two snakes entwined and wings at the top) and a chain necklace. The woman is wearing a white dress with a yellow floral pattern. They are surrounded by yellow and purple flowers. The background shows a city street with buildings and a sunset sky.

ЕКАТЕРИНА
МОРДВИНЦЕВА

УСПОКОИТЕЛЬНЫЙ
СБОР
ЗВЕРОВОЙ ДЛЯ ЗВЕРЯ

Екатерина Мордвинцева Успокоительный сбор. Зверобой для зверя

<https://litres.ru/74211503>

Аннотация

У неё — больной сын и пустой кошелёк. У него — деньги, власть и репутация безжалостного убийцы. Условия сделки просты: один месяц в его доме в обмен на операцию для её ребёнка. Она будет его вещью — молчаливой, послушной, незаметной. Но план рушится в первый же день. Потому что он не кричит, когда она роняет нож. Потому что он приносит чай, когда она плачет. Потому что он учит её стрелять — не чтобы унижить, а чтобы защитить. И теперь главная опасность — не враги, которые объявили на него охоту. А чувства, которые она не должна к нему испытывать.

Содержание

Пролог	4
Глава 1	18
Глава 2	42
Глава 3	66
Конец ознакомительного фрагмента.	87

Пролог

Я не знала его имени, когда оно впервые прозвучало в эфире.

Это случилось за два месяца до того, как я переступила порог его дома. Я тогда ещё верила, что беда — это когда не хватает трёх тысяч на коммуналку. Что страшное — это выговор от начальницы. Что граница моего ада заканчивается потолком съёмной двушки, где по ночам скрипят батареи.

В новостях сказали: «Задержан предполагаемый лидер преступной группировки по кличке Зверь». Я переключила канал, потому что на плите закипал суп для Максима. Бульон мог убежать. Чужая война меня не касалась.

Через две недели его отпустили. «Недостаточно улик».

Я не обратила внимания.

Через месяц он снова был в сводках: перестрелка на юге города, три трупа, двое раненых. Оперативники говорили в камеру привычные фразы: «криминальные разборки», «перedel сфер влияния», «личность устанавливается».

Журналисты называли его «тенью». Потому что никто не знал его лица. Только кличка. Только страх, который катился перед ним, как радиация.

Я узнаю эту кличку позже. И тогда мне будет не до переключения каналов.

Но сейчас — сейчас я обычная женщина, которая выключу-

чает телевизор, потому что сын позвал из комнаты.

Квартира пахнет лекарствами и отчаянием.

Это особый запах. Его невозможно выветрить, даже если открыть все окна в феврале. Он въедается в шторы, в обои, в подушку, на которой я сплю одна уже третий год после развода. Запах сиропа от кашля, аэрозолей для горла, антибиотиков, которые мы пропили два курса, но толку — ноль.

Максим кашляет в соседней комнате.

Это не простой кашель. Я уже научилась различать оттенки. Сухой, лающий — плохо. Влажный, с хрипом — ещё хуже. А этот — надрывный, будто кто-то сжимает его маленькое горло изнутри. Он кашляет уже третью неделю. Температура падает к утру, а к вечеру снова поднимается.

Я сижу на кухне, смотрю на рассыпанные по столу монеты, купюры по пятьсот, тысяче — и понимаю, что это всё.

Двадцать три тысячи восемьсот рублей.

Это всё, что осталось после того, как я заплатила за аренду. Половину суммы мне одолжила подруга Надя. Сказала: «Отдашь, когда разбогатеешь». Мы обе знали, что я не разбогатею.

На столе лежит рецепт. Врач в областной больнице — молодая женщина с усталыми глазами — говорила со мной так, будто готовила к худшему. Она не сказала «рак». Она сказа-

ла: «Новообразование в области бронхов, требует оперативного вмешательства».

— Сколько стоит операция? — спросила я, и мой голос был чужим.

Она назвала сумму.

Я не помню, как вышла из кабинета. Помню только, что села на лавочку у крыльца, смотрела на голые деревья и считала. Миллион триста тысяч. С учётом послеоперационной реабилитации — почти два миллиона.

У меня не было двадцати трёх тысяч.

Максим закашлялся снова. Я встала, механически налила сироп в ложку, пошла к нему.

Он сидел на кровати, обложенный подушками, бледный, худой. Ему всего семь. Он должен бегать, играть в футбол, ныть из-за домашнего задания, а он сидит в этой душной комнате и смотрит в планшет, потому что сил на что-то другое нет.

— Мам, — сказал он, проглотив сироп и сморщившись, — а почему у папы теперь другая тётя?

Этот вопрос он задавал уже три раза за неделю. Развод — это травма, которая не заживает. Илья, мой бывший муж, ушёл полтора года назад к своей бухгалтерше. Алименты платил, когда не забывал. Последний раз перевёл пять тысяч два месяца назад.

— Потому что папа так решил, — ответила я, погладив его по голове. Волосы слиплись от пота.

— А ты теперь не выйдешь замуж?

— Может быть, — улыбнулась я. — Если ты разрешишь.

— Только чтобы хороший был, — сказал Максим и закашлялся снова.

Я вышла из комнаты, закрыла дверь, прислонилась к стене и сползла на пол.

Плакать я разучилась. Слезы кончились где-то на третьем месяце после развода, когда я поняла, что Илья не вернётся. Осталась только сухая, колючая тоска, которая сворачивалась клубком в груди.

Я достала телефон. Пропущенных звонков: три. Все от Нади.

Набрала её номер.

— Слушай, — сказала она без приветствия. — Я тут поговорила с одним человеком. Он может помочь.

— Кто?

— Не важно. Он даёт деньги. Но условия... странные.

— Надя, мне нужно два миллиона. Банк не даст, у меня кредитная история — дыра. Илья не даст, он сам в долгах. Кто этот человек?

Надя помолчала.

— Его клиент. Он... ну, в общем, он из тех, кого боятся. У него свои правила. Но если ты согласишься на его условия, деньги будут завтра.

— Какие условия?

— Я не знаю точно. Знаю только, что он хочет встретить-

ся. Лично.

Я посмотрела на дверь комнаты Максима. Из-за неё снова послышался кашель — глухой, выматывающий.

— Дай адрес, — сказала я.

Надя продиктовала. Я записала на обрывке рецепта.

Офис на окраине. Время — завтра, девятнадцать ноль-ноль.

— Марина, — сказала Надя перед тем, как бросить трубку. — Ты будь осторожнее. Он не обычный человек. Его называют...

— Кем называют?

— Зверем.

Я не вздрогнула. Я уже слышала эту кличку. По телевизору. В сводках новостей.

Перестрелка. Три трупа. Криминальные разборки.

Я посмотрела на рецепт. На имя Максима, написанное детским почерком на обороте — он учился писать прописные буквы.

У меня не было права бояться.

В это же время. Другой адрес.

Он стоял у окна.

Панорамное остекление, двадцать пятый этаж. Внизу — город, похожий на схему нервной системы: огни, провода,

перекрёстки. Он смотрел на юг, где через час должны были прийти люди.

— Андрей Сергеевич, — осторожно позвал помощник. — Машины готовы. Люди на местах.

— Сколько их? — спросил он, не оборачиваясь.

— Семеро. У троих — стволы.

Он кивнул. Помощник ждал, но он молчал.

Его звали Андрей. Но это имя знали только двое — мать, похороненная пять лет назад, и старый вор, который взял его сопливым пацаном из детдома. Для всех остальных он был Зверем.

Прозвище прилипло в девяностых, когда он впервые пошёл на мокрое дело. Ему было семнадцать, он весил под семьдесят килограммов и мог сломать взрослому мужчине челюсть одним ударом. Сейчас ему под сорок, его вес — под сто десять, но это не жир. Это мышцы, которые помнят каждую драку.

На правом предплечье — шрам от ножа. На левом боку — след от пули, который до сих пор ноет к погоде. На рёбрах — трещины, которые срослись криво, потому что он не пошёл в больницу.

Он вообще редко ходил к врачам.

— С кем встреча завтра? — спросил он, всё ещё глядя в окно.

— Женщина. Подруга нашей... клиентки. Сказала, ей нужны деньги. Срочно. На лечение ребёнка.

Он повернулся.

У него было тяжёлое лицо. Не красивое — породистое. Глубоко посаженные серые глаза, прямой нос, скулы, которые выделялись даже сквозь щетину. Он не брился уже три дня — не потому, что забыл, а потому что так привык.

— Ребёнка? — переспросил он.

— Да. Мальчик, семь лет. Заболевание лёгких. Нужна операция.

Зверь молчал полминуты.

В его жизни не было детей. Не сложилось. Бабы были, но все — на один-два раза. Кто-то уходил сам, испугавшись. Кого-то он выгонял, потому что они начинали требовать слишком много. Не денег — внимания.

Он не умел давать внимание.

— Скажи ей, чтобы пришла, — бросил он. — Но сначала — проверь. Кто она, где работает, с кем спит. Всё.

— Уже сделано, — помощник протянул тонкую папку. — Марина Владимировна Соболева. Тридцать один год. Разведена. Бывший муж — Илья Соболев, работает менеджером в автодилерском центре, алименты платит нерегулярно. Ребёнок — Максим, семь лет, учится во втором классе. Диагноз: подозрение на опухоль в бронхах. Уволена две недели назад по сокращению. Счёт в банке — двадцать три тысячи рублей. Квартира съёмная. Ни долгов, ни кредитов. Безвредна.

Зверь взял папку, открыл.

Фотография. Женщина с тёмными волосами, собранными

в пучок. Лицо усталое, но не сломленное. Глаза светлые, с каким-то упрямым огнём.

Он смотрел на её фото дольше, чем требовалось.

— Стволы убери, — сказал он. — Завтра при ней не будет оружия.

— Но, Андрей Сергеевич, а если она...

— Она мать больного ребёнка. Она никуда не побежит. И не предаст.

Помощник удивился, но спорить не стал. Он знал: когда Зверь сказал «убери», значит, убирай. Без вопросов.

В дверь постучали три раза — условный сигнал.

— Люди пришли, — сказал помощник.

Зверь кивнул, закрыл папку с её фото и положил в ящик стола.

— Зови.

Он вышел в коридор. Широкий, тёмный, с дорогой отделкой. На стенах — чёрно-белые фотографии города, который он контролировал. Того, за который убивал и который никогда не полюбит.

Через десять минут начнётся разговор. Люди из соседнего региона приехали предлагать сотрудничество. Они думали, что могут договариваться с ним как с равными.

Он покажет им, что они ошибаются.

Но сейчас, пока он шёл по коридору, в голове мелькнуло чужое лицо. Усталое. Светлоглазое. С упрямым подбородком.

«Марина», — повторил он про себя.

Имя не понравилось. Слишком мягкое. Слишком женственное.

Таким не место в его мире.

Но он почему-то не выбросил папку.

Я не спала всю ночь.

Максим кашлял до двух часов. Потом жар спал, он уснул, и в квартире стало тихо — только шипел старый холодильник да где-то на лестничной клетке лампочка мигала через раз.

Я лежала на диване в гостиной (свою спальню я сдала два месяца назад квартирантке — на время, пока Максим болеет, она уехала к матери), смотрела в потолок и прокручивала в голове всё, что знала о нём.

Зверь.

Кличка, от которой у нормальных людей холодеет внутри.

Я видела его только на любительских фото в криминальных телеграм-каналах — смазанные, нечёткие, будто он умел уклоняться от объективов. Одно фото запомнилось: он выходит из машины, чёрный пиджак, рука в кармане, лицо в тени. И ощущение, что камера вот-вот разобьётся.

Я не знала его настоящего имени. Не знала, сколько ему лет. Не знала, за что его посадили (и выпустили). Не знала,

сколько трупов за его спиной.

Я знала только, что он может дать два миллиона завтра.

И я знала, что такие люди ничего не дают просто так.

Надя сказала: «условия странные». Что это значило? Он потребует секс? Сделает своей любовницей? Или хуже — заставит работать на него? Вozить деньги? Сдавать своих?

Я представила Максима. Его кашель. Его бледное лицо. Его вопрос: «А ты теперь не выйдешь замуж?».

Я решила, что пойду.

И что скажу «да» на любые условия.

Потому что материнство — это не подвиг. Это сделка. Ты меняешь свою жизнь на жизнь ребёнка. И если цена — твоё тело, твоя свобода, твоё достоинство — ты платишь.

Не торгуясь.

Не моргая.

Я уснула под утро, и мне приснился странный сон. Будто я стою посреди тёмного леса, а из чащи выходит огромный зверь. Он не рычит. Он смотрит на меня жёлтыми глазами. И я не боюсь.

Я протягиваю руку.

И он нюхает мои пальцы.

Он проснулся в пять утра.

Без будильника. Это выработалось за годы — подъём,

душ, разминка, завтрак. Армия, тюрьма, криминал — везде один режим.

Он сделал тридцать отжиманий на одной руке (левая всё ещё болела после старого ранения), потом подтянулся на турнике, который висел в дверном проёме.

В зеркале ванной — отражение, которое не менялось уже лет десять. Только глубже стали морщины вокруг глаз и жёстче линия рта.

Он почистил зубы, побрился (решил, что с женщиной надо быть чистым — это осталось от матери, которая говорила: «Андрей, ты же не зверь, ты человек»).

«Мать бы её одобрила», — подумал он и сам удивился своей мысли.

За завтраком он снова открыл папку.

Марина Владимировна Соболева. Родилась в этом городе. Окончила университет, экономический факультет. Работала в трёх компаниях — везде рядовой специалист, нигде не задерживалась дольше трёх лет. Не карьеристка. Не амбициозная. Обычная.

Но была одна деталь, которую он заметил сразу.

Она не брала кредитов.

За тридцать один год — ни одного потребительского кредита, ни одной ипотеки. Даже микрозаймов. Только дебетовая карта и наличные.

Это было странно. Люди в её положении обычно живут в долг. А она — нет. Значит, или безумно ответственная, или

патологически боится зависимости.

Он понимал этот страх. Сам не брал ни копейки в долг. Только давал.

И забирал с процентами. Часто — с жизнью должника.

Но она не должник. Она — просительница.

Это было по-другому.

Он закрыл папку, допил кофе и вышел.

В машине его ждал водитель и два охранника. Всё как обычно. Чёрный «Мерседес», тонировка, маршрут, продуманный до секунды.

— В офис, — сказал он.

— Андрей Сергеевич, встреча в девятнадцать ноль-ноль.

У вас ещё переговоры в четырнадцать.

— Знаю.

Он откинулся на сиденье, закрыл глаза.

Перед внутренним взором снова возникло её лицо.

«С какой стати?» — подумал он. Женщин в его жизни было много. Красивых, ярких, доступных. Эта — нет. Она не красивая. Просто... живая.

Он открыл глаза.

— Сделай так, чтобы в кабинете было чисто. И убери всё, что стреляет. Я сказал.

Водитель кивнул. Охранники переглянулись, но промолчали.

Зверь готовился к встрече, сам не зная зачем.

Я оделась, как на собеседование.

Чёрные брюки, белая блузка, туфли на низком каблуке. Волосы распустила — так я выгляжу моложе. Надя сказала. «Не надо вызывающе. Он не любит ярких».

Я не знала, чего он не любит. Я знала только, что иду к человеку, который может убить одним звонком.

Максима я отвезла к маме. Мать живёт в соседнем районе, в двушке, которую мы когда-то купили с Ильёй, а потом отдали ей, потому что сами переехали в съёмную.

— Ты куда? — спросила мама, глядя на мои туфли.

— По работе, — соврала я.

— Ты же уволена.

— Нашла новую.

Мама не поверила, но спорить не стала. Она взяла Максима за руку, повела в комнату, и я услышала, как сын снова закашлялся.

Я вышла на улицу.

Февраль. Ветер ледяной, грязный снег под ногами. Я ловила такси десять минут — все машины были заняты. Наконец одна остановилась, водитель — узбек, не говоривший по-русски — кивнул, когда я показала адрес на телефоне.

Ехали молча.

Я смотрела в окно на знакомые улицы, которые сегодня казались чужими. Вот школа, где учился Максим. Вот парк,

где мы гуляли прошлым летом. Вот магазин, где я покупала продукты в последний раз до увольнения.

Обычный мир. Мир, в котором я была хозяйкой своей жизни.

Я ехала туда, где хозяйка — не я.

Машина остановилась у высотного здания на окраине. Бизнес-центр, но без вывесок. Стекла тонированные. На входе — двое в чёрном, с едва заметными гарнитурами в ушах.

Я вышла из такси, заплатила последние пятьсот рублей и подошла к двери.

— Соболева, — сказала я. — У меня встреча.

Охранник посмотрел на меня, нажал кнопку на рации.

— Принимайте, — сказал голос.

Дверь открылась.

Я сделала шаг внутрь.

И две вселенные — его и моя — столкнулись.

Глава 1

Я узнала, что меня уволили, в среду, в десять утра.

До этого утро было обычным. Я встала в шесть, потому что Максим снова кашлял во сне, и я не могла лежать, слушая эти надрывные хрипы через стенку. Я лежала и считала. Три секунды вдох, короткий выдох, потом кашель — глухой, лающий, будто кто-то сжимает его маленькое горло изнутри. Я насчитала двенадцать таких приступов за ночь. Двенадцать раз я вскакивала, шла налить воды, поправить подушку, погладить по спине. Двенадцать раз я шептала: «Всё хорошо, сынок, всё хорошо».

Я не спала вообще. Но это было неважно.

Сделала ему молоко с мёдом — он выпил, сморщился, сказал, что мёд «противный». Потом собрала в школу, хотя он почти не ходил последние две недели. Учительница звонила уже три раза за эту неделю. Мягко намекала, что пора бы показаться врачу. Как будто я не знала. Как будто я не таскала его по поликлиникам каждый божий день.

— Мам, а можно я сегодня не пойду? — спросил он, натягивая рюкзак на плечи, которые стали слишком острыми даже для его худенького тела.

Я посмотрела на него. Бледный, под глазами синие круги — такие, какие бывают у стариков, а не у семилетних мальчишек. Шея тонкая, ключицы выпирают. Он похудел за по-

следний месяц на три килограмма. Три килограмма для ребёнка — это много. Врач сказала: «Следите за питанием». А я слежу. Я покупаю творог, мясо, фрукты. Он просто не ест. Ему больно глотать. Или нет аппетита. Или он устаёт жевать.

— Нельзя, — сказала я твёрже, чем чувствовала. — У тебя контрольная по математике.

— Я болею.

— Ты просто кашляешь. Это не болезнь.

Я сама не верила в то, что говорила. Но если бы я призналась, что боюсь — по-настоящему, до дрожи в коленях, до тошноты, до желания забиться в угол и завывать, — он бы испугался ещё больше. А я не могла позволить себе бояться при нём. Матери не имеют права на страх. Это где-то в конституции написано, наверное. Или в инструкции, которую выдают при выписке из роддома.

Я отвела его в школу. По дороге он кашлял три раза. Один раз пришлось остановиться, потому что кашель был такой сильный, что его вырвало. Прямо на снег. Я стояла на коленях посреди тротуара, держала его за плечи, пока он давился желчью, потому что желудок был пустой — он не позавтракал. Прохожие обходили нас стороной. Кто-то сказал: «Бедный ребёнок». Кто-то сказал: «Надо было дома оставить». Никто не помог.

Я вытерла ему рот салфеткой, поцеловала в макушку (волосы пахли детским шампунем и чем-то сладким — может быть, тем самым мёдом из вчерашнего вечера), и мы пошли

дальше.

У школы я постояла минуту, глядя, как он заходит внутрь. Его синяя шапка с помпоном мелькнула в дверях и исчезла. Я подождала, не выйдет ли он обратно. Не вышел.

Тогда я пошла на работу.

Офис находился в двадцати минутах ходьбы. Маленькая компания по оптовой продаже канцтоваров. Три комнаты, вечно ломающийся принтер, начальница с лицом, которое, казалось, треснет, если она улыбнётся. Я работала там два года. Два года считала чужие накладные, сверяла счета, мирилась с тем, что зарплату задерживают на неделю, а потом ещё на неделю. Два года я делала вид, что эта работа — не помойка.

На самом деле это было выживание. Чистое, без прикрас. Я вставала каждый день, шла в этот душный офис, слушала, как начальница повышает голос на секретаршу, как бухгалтерша жалуется на жизнь, как принтер жрёт бумагу и плюется тонером. И я улыбалась. Я всегда улыбалась. Потому что если бы я перестала улыбаться, мне пришлось бы признать, что моя жизнь — это чередка потерь, из которых я не вижу выхода.

В десять утра секретарша Ирочка — девятнадцатилетняя девица с наращенными ресницами, которые вечно норовили упасть в чай, и ногтями, которыми она не могла печатать на клавиатуре — заглянула в мою комнату.

— Марин, шеф зовёт, — сказала она и почему-то отвела

глаза.

Я сразу поняла. Есть такие моменты, когда воздух становится другим. Плотным. Он давит на грудь, и ты ещё не знаешь, что случилось, но твоё тело уже знает. Мурашки по спине, холод в пальцах, внезапное желание выйти и больше никогда не возвращаться. Я почувствовала это, когда умер отец. Когда ушёл Илья. Когда врач в первый раз сказала «новообразование». Это был тот же самый холод.

— Сейчас, — сказала я.

Я поправила блузку. Глупо, да? Меня собираются уволить, а я поправляю блузку. Потом одёрнула юбку, проверила, не вылезла ли нитка. Женщины всегда так делают перед ударом. Приводят себя в порядок, будто это поможет.

Кабинет начальницы — Лидии Павловны — находился в конце коридора. Дверь была открыта. Она сидела за столом, перебирала какие-то бумаги, и когда я вошла, даже не подняла головы. Это был плохой знак. Если бы она улыбнулась и предложила чай — можно было бы надеяться. Но она даже не посмотрела на меня.

— Садись, Соболева.

Я села. Стул был скрипучий, холодный. Я сложила руки на коленях, как примерная девочка.

— Ты знаешь, какая ситуация, — начала она тем тоном, каким говорят о плохой погоде или о том, что хлеб опять подорожал. — Кризис, спрос упал, мы вынуждены сокращать штат.

— Я здесь два года, — сказала я. — У меня нет ни одного выговора. Я ни разу не опоздала. Я делала работу за двоих, когда Света ушла в декрет.

Я не должна была этого говорить. Я знала, что это бесполезно. Но слова вылетали сами.

— Это не важно, — Лидия Павловна подняла голову. Её глаза — маленькие, блеклые, цвета выцветших джинсов — смотрели без всякого выражения. Ни злорадства, ни сожаления. Ей было всё равно. Абсолютно. — Твоя ставка сокращается. Сегодня последний день. Бухгалтерия подготовит расчёт. Можешь забрать вещи.

Вот и всё.

Ни «извините», ни «мне жаль». Никакого «мы ценили ваш труд». Два года моей жизни, два года я вкалывала за тридцать тысяч, делала отчёты в выходные, сидела допоздна, когда нужно было сдать квартальный баланс, терпела её унижительные нотации по поводу того, что «деловая женщина должна лучше выглядеть» — и всё это уместилось в три минуты разговора.

— У меня ребёнок болен, — сказала я.

Это прозвучало жалко. Я ненавидела себя за эти слова. Но они вырвались сами, как рвота у Максима на тротуаре. Непроизвольно. Я хотела, чтобы она поняла. Чтобы хотя бы на секунду представила, каково это — стоять на пороге, за которым ничего нет.

Лидия Павловна пожала плечами.

— У всех проблемы, Соболева. У меня, между прочим, муж в больнице лежал с инфарктом. Я не просила поблажек.

Она сравнила. Она сравнила инфаркт своего мужа (который, кстати, выжил и сейчас на даче картошку сажает) с болезнью моего семилетнего ребёнка. И сочла себя победительницей в этом соревновании по страданиям.

Я встала. Стул противно скрипнул.

— Когда я могу забрать трудовую?

— Завтра. Приходите с утра к секретарю.

Она снова опустила глаза в бумаги. Разговор был окончен. Я для неё больше не существовала.

Я вышла из кабинета. Шла по коридору, чувствуя, как стены становятся ближе. Ирочка смотрела на меня с сочувствием, которое было почти таким же унижительным, как равнодушные начальницы.

— Марин, ты как? — спросила она шёпотом.

— Нормально, — сказала я. — Всё нормально.

Я зашла в свою комнату, села за стол, уставилась в монитор. На нём была открыта таблица с поставками за прошлый месяц. Я должна была её закончить к обеду. Сроки, отчёты, цифры. Ради чего? Чтобы кто-то другой завтра нажал «сохранить» и присвоил себе?

Я закрыла таблицу. Потом открыла снова.

Потом нажала «сохранить как» и удалила файл.

Мелкая месть. Бессмысленная. Через полчаса его восстановят из копии. Но мне стало чуть легче. Хотя бы на несколь-

ко секунд я почувствовала, что контролирую хоть что-то в этой жизни.

Расчёт мне дали в четырнадцать ноль-ноль.

Я ждала два часа. Два часа я сидела за своим столом, пила остывший кофе и смотрела, как Ирочка бегают с бумажками, как бухгалтерша Зинаида Петровна пересчитывает что-то на счётах (она не доверяла калькуляторам, говорила, что «техника врёт»), как в соседней комнате обсуждают, кто займёт моё место.

— А она же с ребёнком, — услышала я сквозь тонкую стенку. — С больным. Вечно будет отпрашиваться.

— Да, это проблема. Нам нужен кто-то мобильный.

Мобильный. Я представила себя с антенной на голове. Мобильный сотрудник. Не человек — функция.

В два часа Ирочка принесла конверт. Белый, плотный. Я открыла его в туалете, потому что не хотела, чтобы кто-то видел моё лицо в тот момент, когда я пересчитаю деньги.

Тринадцать тысяч восемьсот рублей.

Я пересчитала дважды. Потом третий раз, на всякий случай.

Тринадцать тысяч восемьсот.

За две недели, которые я отработала в этом месяце. Плюс компенсация за неиспользованный отпуск — два дня, пото-

му что в отпуск я не ходила. Минус какой-то штраф за опоздание три недели назад, когда я пришла на двадцать минут позже, потому что Максим кашлял до трёх утра и я не слышала будильник. Штраф — пятьсот рублей. За двадцать минут. Она вычла пятьсот рублей.

Тринадцать тысяч восемьсот.

Аренда квартиры — восемнадцать тысяч. Восьмого числа. А сегодня — четвёртое.

Я прислонилась спиной к холодной кафельной стене, закрыла глаза. Сердце стучало где-то в горле. Я чувствовала его биение кончиками пальцев, которыми сжимала конверт. Кафель был ледяной. Я специально прижалась сильнее — пусть холод проберёт до костей, пусть заставит меня очнуться. Но я не просыпалась. Это была не страшный сон. Это была моя жизнь.

«У меня нет денег, — сказала я себе. Не спросила. Сказала. — У меня нет денег. У меня нет работы. У меня нет мужа. У меня есть больной ребёнок. И тринадцать тысяч. И через четыре дня нужно платить за квартиру. И через две недели — операция. Иначе поздно».

Мне хотелось закричать. Так, чтобы стёкла вылетели. Чтобы стены рухнули. Чтобы кто-нибудь прибежал и спросил: «Что случилось? Чем помочь?».

Я не закричала.

Я сложила конверт в сумку, вышла из туалета, надела пальто и вышла на улицу. Никто меня не остановил. Ни-

кто не спросил, почему я ухожу в середине дня. Даже Ирочка, которая смотрела на меня с сочувствием, отвернулась к принтеру.

Я была никем.

Пустое место, которое занято два года, а теперь освободилось для кого-то, кому будут платить ещё меньше.

Я должна была забрать Максима из школы в два часа. Но вместо этого я поехала в поликлинику.

Не к нашему участковому — к тому врачу, к которому мы ходили по направлению. Фтизиатр. Женщина лет пятидесяти, с седыми волосами, собранными в тугую пучок, и очками в толстой чёрной оправе. Её звали Галина Сергеевна. Она была из тех врачей, которые не улыбаются пациентам, но помнят историю болезни каждого ребёнка. Я уважала её за это. Она не давала ложных надежд. Она говорила правду, даже когда правда была невыносима.

В регистратуре я взяла талончик. Очередь была небольшая — человек пять. Я села на пластиковый стул, поставила сумку на колени, сжала её так, будто от этого зависела моя жизнь.

Внутри лежал конверт. Тринадцать тысяч восемьсот.

Рядом со мной сидела женщина с девочкой лет пяти. Девочка играла в куклу — старую, лысую Барби, — тихонько

напевала песенку из мультика. Женщина листала ленту в телефоне, улыбалась чему-то, ставила лайки. У неё, наверное, всё было нормально. У неё, наверное, была работа. И муж. И деньги на куклы.

Я завидовала этой женщине острой, физической завистью. У меня внутри заныло. Я никогда не завидовала чужому счастью. Но сейчас, когда я сидела с конвертом в сумке, который был меньше, чем аренда, я готова была поменяться с ней местами. С любой. С бомжом на вокзале — у того хотя бы нет больного ребёнка, которому нужна операция.

— Соболева, — позвали из кабинета.

Я встала. Ноги были ватными. Я вошла.

Кабинет пах лекарствами и старостью. На столе — стопка карт, чашка с чаем (давно остывшим), ручка с зажимом. Галина Сергеевна сидела за столом, перед ней лежала папка с моими бумагами — тонкая, но уже потрёпанная. Я заметила, что на обложке написано «Соболев Максим, 2017 г.р.» и стоит пометка красным фломастером. Я не разобрала, что там написано, но красный цвет — это всегда плохо.

— Садитесь, — сказала она.

Я села. Та же фраза, что и у начальницы. Но голос был другим. В нём не было равнодушия. В нём была усталость. Такая же, как у меня. Серая, тягучая, бесконечная.

— Я принесла результаты анализов, — сказала я, хотя она и так это знала. Я протянула листки, которые забрала из лаборатории вчера. Руки дрожали. Я не могла это остановить.

Пальцы тряслись, как у старухи.

Галина Сергеевна взяла их, посмотрела, потом положила на стол. Сняла очки. Потёрла переносицу. Это был жест, который я уже выучила. Когда она трёт переносицу — новости плохие. Когда надевает очки обратно — ещё хуже.

— Марина Владимировна, — начала она, и я поняла, что сейчас будет то, чего я боялась больше всего. — Я не буду ходить вокруг да около. У Максима новообразование в области бронхов. Скорее всего — доброкачественное, но окончательный ответ даст только биопсия.

— Рак? — спросила я. Голос не дрожал. Я сама удивилась. Я думала, что разревусь. Но слёз не было. Сухость во рту, холод в груди — да. Но слёз нет.

— Не будем забегать вперёд. — Она надела очки обратно. — Операция нужна в любом случае. Новообразование мешает дыханию, отсюда кашель, одышка, ночная потливость, потеря веса. Если его не удалить, оно будет расти. И тогда...

Она замолчала. Посмотрела на меня. Я знала, что она хочет сказать. «И тогда будет поздно». Но она подбирала слова. Врачи всегда подбирают слова. Они учатся этому в медицинском. Как говорить правду, не убивая надежду.

— И тогда? — спросила я. Я хотела услышать это. Мне нужно было услышать это.

— Тогда будет поздно, — сказала она прямо. Без смягчений. — Я не люблю пугать родителей, но я обязана говорить правду. Если не сделать операцию в ближайшие две-три

недели, последствия могут быть необратимыми.

Две-три недели.

Я слышала эти слова, но они не доходили до сознания. Они бились о какую-то стену внутри меня, отскакивали, падали. Две недели. Четырнадцать дней. Я представила календарь. Четырнадцать квадратиков. В каждом — возможность спасти сына или потерять его навсегда.

— Сколько стоит операция? — спросила я.

Галина Сергеевна назвала сумму.

Миллион триста тысяч.

Без учёта реабилитации. Без учёта лекарств. Без учёта пребывания в клинике.

Я закрыла глаза. Открыла.

Миллион триста. У меня тринадцать восьмьсот.

Разница — как между Землёй и Луной. Как между жизнью и смертью.

— В областной больнице можно сделать по полису, — добавила она, видя моё лицо. — Но очередь. Три-четыре месяца. А у Максима нет трёх-четырёх месяцев.

— А платно?

— В платной клинике — через неделю. Но там ещё дороже. Около двух миллионов.

Я кивнула. Два миллиона. Я даже не могла представить эту сумму. Я никогда не держала в руках больше ста тысяч. Два миллиона — это космос. Это другая галактика. И я в ней не живу.

— Спасибо, Галина Сергеевна, — сказала я. Встала. Стул не скрипнул. В этом кабинете всё было добротным, не то что у Лидии Павловны.

— Марина Владимировна, — окликнула она меня, когда я уже взялась за дверную ручку. — Я понимаю, что это звучит бестактно... но вы не пробовали обратиться в благотворительные фонды?

— Пробовала, — сказала я, не оборачиваясь. — В три. Отказали. Слишком много заявок. Или история не тронула. Не знаю.

— Попробуйте ещё. В интернете пишут, что иногда помогают.

«В интернете пишут». Я чуть не рассмеялась. В интернете пишут, что земля плоская. В интернете пишут, что можно вылечить рак молитвой. Я вышла из кабинета, закрыла дверь и прислонилась к ней спиной.

В коридоре всё та же женщина с девочкой. Девочка уже не пела. Она смотрела на меня большими глазами, и мне показалось, что она всё поняла. Дети всегда всё понимают. Они чувствуют страх. Они чувствуют отчаяние. Они чувствуют, когда мир рушится, даже если взрослые улыбаются.

Я вышла на улицу. Февральский ветер ударил в лицо, и я обрадовалась этому холоду. Он помогал не разреветься. Ветер дул с севера, колючий, с мелкими льдинками. Я подставила лицо. Пусть. Пусть больно. Пусть щиплет. Это хотя бы реально.

Я достала телефон. Пропущенных — три. Все от мамы.

Перезвонить? Нет. Я не могла сейчас с ней говорить. Она спросит, как дела, и я скажу, что всё нормально, а она не поверит, и начнётся тот самый разговор, от которого хочется залезть под одеяло и не вылезать. «Дочка, ты же не одна, у тебя есть я». А я знаю, что у неё пенсия пятнадцать тысяч, и она сама еле сводит концы с концами, и если она поможет мне, то останется без хлеба. А у неё давление. А у неё больные ноги. А у неё ипотека за ту квартиру, которую мы когда-то купили с Ильёй, а потом отдали ей.

Нет. Я не могла.

Я пошла в школу. Ноги несли меня сами. Я думала о цифрах. Миллион триста тысяч. Тринадцать тысяч восемьсот у меня в сумке. Если я найду работу завтра — но кто возьмёт меня с больным ребёнком? Если я возьму кредит — но банки не дают без поручителей. Если я продам что-то — но у меня ничего нет. Телевизор старый, холодильник тоже, ноутбук на последнем издыхании. Мои вещи? Кому нужны мои вещи?

Я попробовала считать. Серьёзно. Как будто это была задача по математике. Вариант А — работа. Вариант Б — кредит. Вариант В — помощь от государства. Вариант Г — чудо.

Я перебирала варианты, как чётки. Ни один не подходил.

Я забрала его из школы в три часа.

Он сидел в раздевалке на скамейке, один. Остальные дети уже ушли. Учительница сказала, что он плохо себя чувствовал на последнем уроке, и лучше бы ему побыть дома. Она сказала это тихо, чтобы не слышали другие родители. Но я видела её глаза. Там был страх. Она боялась, что он заразен. Все боятся, что он заразен. А он не заразен. У него не простуда. У него опухоль в лёгких. Но попробуй это объяснить.

— Мам, у меня голова болит, — сказал он, когда я взяла его за руку. Ладонка была горячей. Сухой жар — самый опасный. Я это уже знала.

— У тебя температура? — спросила я, прижимая свою ладонь к его лбу. Да. Горячий. Сухой. Градусник дома покажет, но я и так чувствовала — под сорок.

— Не знаю. — Он пожал плечами. — Просто болит. И в груди давит.

Мы вышли на улицу. Он надел шапку — синюю, с помпоном, которую я связала ему прошлой зимой. Шапка была великовата, сползала на глаза, но он отказывался носить другую. Говорил, что эта «мамина любовь». Сейчас она сползла ещё ниже, потому что он похудел. Голова стала меньше.

Сейчас он выглядел маленьким. Слишком маленьким для своих семи лет. В этом огромном пальто (прошлогоднем, уже маловатом, но я не могла купить новое) он казался чужим ребёнком. Будто кто-то положил в большую одежду маленького, хрупкого зверька.

— Мам, а почему ты рано пришла? — спросил он, когда

мы шли к остановке.

— Меня отпустили пораньше.

— А почему?

— Потому что.

Я не умела врать сыну. Он всегда чувствовал фальшь. Он замолчал, и мы прошли ещё полквартила в тишине, нарушаемой только его кашлем. Сухим, надрывным. Каждый раз, когда он кашлял, у меня внутри что-то обрывалось. Будто кто-то перерезал струну.

— Мам, — сказал он вдруг. — А если я умру?

Я остановилась. Повернулась к нему. Взяла за плечи — осторожно, чтобы не сделать больно. Он такой хрупкий сейчас. Как фарфоровая кукла.

— Кто тебе сказал такую глупость? — спросила я. Голос дрожал. Я не могла это контролировать. Слезы подступали к горлу, но я сглотнула. Не сейчас. Не при нём.

— Никто. Я сам подумал. — Он смотрел на меня серьёзно, как взрослый. Семилетний ребёнок. С глазами, которые видели слишком много. — Я кашляю уже долго. И ты плачешь по ночам. Я слышу.

— Я не плачу.

— Плачешь. Я слышу, когда ты в ванной сидишь. И папа ушёл. И ты всё время грустная. Вот я и подумал...

— Никто не умрёт, — сказала я, перебив его. Слишком резко. Голос сорвался. — Слышишь меня? Никто. Не. Умрёт.

Я обняла его. Прижала к себе так сильно, как только могла, не причиняя боли. Он был тёплым — жар всё ещё держался — и пах чем-то детским, беззащитным. Молоком и потом. И болезнью. Тонкий, едва уловимый запах, которого не должно быть у детей.

— Обещаю, — прошептала я ему в макушку. — Ты будешь жить. Я сделаю всё, что угодно. Только не говори так больше. Никогда.

— Хорошо, — сказал он. — Просто у меня в груди болит.

Я отстранилась, взяла его за руку, и мы пошли дальше. Он сжимал мои пальцы своими горячими пальчиками. Я чувствовала каждый позвонок. Он был таким лёгким. Я могла бы поднять его одной рукой.

По дороге я купила в аптеке новое лекарство — сироп от кашля, который прописала Галина Сергеевна. Флакончик стоил тысячу двести рублей. Я отдала последние, которые были в кошельке, кроме тех, что лежали в конверте. В конверт я не лезла. Конверт был неприкосновенным. Это была не моя зарплата. Это был наш билет. Куда — я ещё не знала.

Дома я уложила Максима в кровать, дала лекарство, поставила рядом стакан с компотом. Он уснул быстро — устал, разболелся. Я посидела рядом, послушала его дыхание. Тяжёлое, с присвистом. Каждый вдох давался ему с трудом. Я

слушала и считала. Вдох — раз, выдох — два. Пауза. Снова вдох.

Потом вышла на кухню, села за стол и открыла ноутбук.

Я искала работу. Три часа подряд. Откликалась на вакансии, рассылала резюме, заполняла анкеты. Администратор в салоне красоты — двадцать пять тысяч. Продавец в магазине одежды — двадцать тысяч. Оператор колл-центра — двадцать две тысячи плюс проценты. Уборщица в офисе — восемнадцать тысяч. Ночная смена на складе — тридцать тысяч, но смены по двенадцать часов.

Я готова была на любую. Но кто возьмёт меня, когда у меня ребёнок с неизвестной болезнью? Я честно писала в резюме: «есть ребёнок». Но не писала, что он болен. Это была ложь. Но каждая мать в моей ситуации лжёт. Мы все лжём. Потому что правда делает нас неконкурентоспособными.

В половине одиннадцатого я закрыла ноутбук.

Ни одного ответа.

Ноль.

Я сидела в темноте, смотрела на окно. За ним — февральская ночь, фонари, мокрый снег. Где-то там, за этими огнями, есть деньги. Миллионы. Люди покупают машины, квартиры, яхты. Люди тратят на ужин в ресторане больше, чем у меня на лекарства на месяц. Люди летят в отпуск на Мальдивы, а я считаю копейки на хлеб.

Почему я не могу попросить у них? Почему система устроена так, что ты должен быть или очень богатым, или

очень больным, чтобы получить помощь? Почему обычная женщина с больным ребёнком — это не проблема? Почему никто не видит?

Я снова подумала о благотворительных фондах. Мы подавали заявки в три. Отказ, отказ, отказ.

«К сожалению, ваша история не набрала достаточного количества голосов».

«К сожалению, мы не можем помочь всем».

«К сожалению, сбор средств приостановлен».

Чёртовы «к сожалению».

Я встала, налила себе чай. Чайник остыл, вода была тёплой, противной. Я всё равно пила. Нужно было чем-то занять руки.

В комнате Максим закашлял. Я замерла. Прислушалась. Кашель стих. Он что-то пробормотал во сне. Может быть, моё имя. Или папино. Я не разобрала.

Я села обратно. Взяла телефон. Набрала Надю.

— Алло? — Голос у Нади был сонный. — Марин? Ты чего в одиннадцать?

— Меня уволили, — сказала я.

Тишина. Потом:

— Как?

— Сокращение. Сегодня. Дали тринадцать тысяч и до свидания.

— Господи, Марина... — Она вздохнула. Я услышала, как она села на кровати. Скрипнули пружины. — А как же Мак-

сим?

— Врач сказала — операция нужна через две недели. Миллион триста. Иначе будет поздно.

— Господи, — повторила она. — А Илья?

— Илья в параллельной вселенной. Со своей бухгалтершей.

— Сволочь.

— Неважно. Надь, я не знаю, что делать. Я откликнулась на десять вакансий, ноль ответов. В банке не дадут. Фонды отказали. Маме я не скажу, у неё самой копейки. Я не знаю...

Голос дрогнул. Я замолчала. Слезы наконец-то пришли. Они текли по щекам, горячие, солёные. Я не вытирала их. Пусть.

— Ты плачешь? — спросила Надя.

— Нет, — сказала я сквозь слёзы.

— Марина, послушай меня. — Надя говорила тихо, почти шёпотом. — Я не знаю, хорошо ли я делаю, что говорю тебе это. Но есть один человек.

— Какой человек?

— Он... — Надя запнулась. Я услышала, как она сглатывает. — Он даёт деньги. Много. Быстро. Но...

— Но что?

— Но условия необычные. И он... опасный.

— Надя, — сказала я. Слезы высохли. Осталась только сухая, колючая решимость. — Мне нужны деньги на операцию. Я не знаю, что такое «опасный» в твоём понимании, но

я готова на что угодно. Говори.

— Его клиент. Один из моих клиентов, я работала с ним, когда была в агентстве. Он... — она понизила голос до шёпота, — ну, в общем, он из тех, кого все боятся. У него свои правила. Но если ты согласишься на его условия, деньги будут завтра.

— Какие условия?

— Я не знаю точно. Знаю только, что он хочет встретиться. Лично. В его офисе. И говорит, что он редко кому помогает, но если помогает — то по-крупному.

Я смотрела на дверь комнаты Максима. Сквозь щель пробивался тусклый свет ночника — жёлтый, тёплый. Я купила этот ночник в «Икее» три года назад. Он был в виде звезды. Максим называл его «моя звёздочка».

— Дай номер, — сказала я.

— Марина, ты уверена?

— Дай номер, Надя.

Она продиктовала. Я записала в блокнот — карандашом, потому что ручка закончилась. Восемь цифр. Ни имени, ни названия компании. Просто номер. Я смотрела на него, и он казался мне чем-то большим, чем просто цифры. Портал. Дверь.

— Когда звонить? — спросила я.

— Завтра. Скажешь, что от меня. Он назначит время.

— Спасибо, Надь.

— Не благодари. — Её голос дрогнул. — Я не знаю, добро

ли я делаю или зло. Но выхода у тебя правда нет.

Она отключилась.

Я осталась сидеть на кухне, сжимая телефон в руке. Номер был записан. Я смотрела на него, и он казался мне чем-то большим, чем просто цифры. Портал. Дверь.

С другой стороны этой двери — неизвестность.

Я вспомнила те новости. Перестрелка. Три трупа. Кличка, от которой кровь стынет в жилах. Вспомнила любительские фото в телеграм-каналах — смазанные, нечёткие. Человек-тень. Человек-страх.

Но я вспомнила и другое. Максима. Его вопрос: «А если я умру?». Его горячие пальцы в моей руке. Его кашель по ночам. Его веру в то, что мама может всё.

Я взяла телефон. Набрала номер.

Длинные гудки. Раз, два, три.

— Слушаю, — сказал мужской голос. Низкий, спокойный. Без приветствия. Без имени. Просто слово, которое могло быть и приказом, и разрешением говорить.

— Мне нужна помощь, — сказала я. Голос не дрожал. — Меня направила Надя.

Тишина. Я слышала его дыхание — ровное, глубокое. Он думал. Или рассматривал меня через трубку. Я не знала.

Потом:

— Завтра. Девятнадцать ноль-ноль. Адрес скажет Надя.

— Как вас звать?

— Не важно.

Короткие гудки. Он отключился.

Я убрала телефон. Посмотрела на карандашные цифры в блокноте. Потом медленно, аккуратно стёрла их ластиком.

Не потому, что боялась. А потому, что они были не нужны. Я их запомнила. Я запомнила каждую цифру. Они въелись в память, как иглы.

Я встала, подошла к двери комнаты Максима, приоткрыла её. Он спал, раскинув руки, подушка сползла на пол. Я подняла её, поправила, поцеловала его в лоб.

Горячий. Сухой.

— Всё будет хорошо, — прошептала я. — Обещаю.

Я не знала, кому обещаю — ему или себе.

Но я знала, что завтра в семь вечера я переступлю порог, за которым начинается другая жизнь. Та, в которой нет места страху. Или в которой страха так много, что он становится единственным, что остаётся.

Я выключила свет на кухне. Легла на диван в гостиной (свою спальню я сдала два месяца назад квартирантке, студентке из другого города — на время, пока Максим болеет, она уехала к матери). Закрывает глаза.

Сон не шёл.

Я лежала и слушала, как дышит сын. С присвистом. С трудом. Как счётчик, который тикает всё быстрее.

Две недели.

Четырнадцать дней.

Я закрыла глаза и увидела его. Не лицо — силуэт. Тень.

Человека, которого боятся. Человека, у которого нет имени.
— Завтра, — прошептала я в темноту. — Я приду.
И тишина ответила мне согласием.

Глава 2

Я не спала всю ночь.

Это было не то бодрствование, когда ты ворочаешься с боку на бок, надеясь провалиться в сон. Это было что-то другое. Я лежала на диване в гостиной, смотрела в потолок и слышала, как в соседней комнате дышит Максим. Его дыхание было неровным — то глубокое, то поверхностное, с тем самым присвистом, который заставлял меня каждый раз внутренне вздрагивать.

Я перебирала в голове варианты.

Вариант первый: не ехать. Остаться дома, продолжить рассылать резюме, надеяться на чудо. Может быть, завтра позвонят из того колл-центра. Может быть, мама пришлёт половину пенсии. Может быть, бывший муж вспомнит, что у него есть сын, и переведёт не пять тысяч, а хотя бы двадцать.

Может быть. Может быть. Может быть.

Слово, которое убивает надежду, потому что превращает её в ожидание.

Вариант второй: поехать. Взять конверт с тринадцатую тысячами (уже не восемьюстами — я пересчитала перед сном, и там оказалось на четыреста рублей меньше, чем я думала, будто кто-то украл их у меня во сне), сесть в такси, приехать по адресу, который Надя прислала сообщением в час ночи.

«Ул. Промышленная, 17, БЦ "Форпост", 5 этаж. Будь

осторожна».

Будь осторожна.

Как будто осторожность могла меня спасти. Если человек, к которому я еду, — это действительно Зверь из криминальных сводок, то никакая осторожность не поможет. Он может всё. Он везде. Он тот, кого боятся даже те, кто сам внушает страх.

Я лежала и думала о том, как выглядит страх. У него есть цвет? Наверное, серый. Как февральское небо за окном. Как те глаза, которые я ещё не видела, но уже боялась.

В три часа ночи я встала, налила себе воды, выпила и поняла, что выбора у меня нет.

Совсем.

Когда у твоего ребёнка осталось две недели, а у тебя в кошельке — тринадцать тысяч, ты перестаёшь быть человеком с моральными принципами. Ты становишься функцией. Инструментом. Ты делаешь то, что нужно, чтобы он выжил. Всё остальное — потом. Потом будет совесть, потом будет стыд, потом будут ночные кошмары. Сначала — деньги.

Я встала в шесть утра. Максим ещё спал — он дышал тихо, почти без присвиста, и я на секунду позволила себе поверить, что всё наладится само. Что завтра придет письмо из благотворительного фонда, что какой-то дальний родственник оставит наследство, что случится чудо.

Но чудеса не случаются с такими, как я. Чудеса — для тех, у кого есть запасной план. У меня не было даже основного.

Я собрала Максима к бабушке. Он проснулся вялый, с красными глазами, и я снова измерила ему температуру — тридцать семь и два. Не критично, но достаточно, чтобы сердце сжалось.

— Ты куда? — спросил он, когда я завязывала ему шнурки.

— На новую работу, — сказала я, улыбнувшись той улыбкой, которая не доходила до глаз.

— А когда ты вернешься?

— Вечером. Ты побудешь у бабушки.

— А почему я не могу побыть один?

— Потому что ты ещё маленький.

— Я уже большой, — обиделся он. — Мне семь лет.

Я поцеловала его в макушку, вдыхая запах его волос — детский шампунь, что-то сладкое, жизнь. Потом повела его к маме.

Мама жила в соседнем районе, в хрущёвке на первом этаже. Я позвонила в дверь, она открыла сразу — будто ждала. На ней был старый халат, волосы не расчесаны. Она выглядела старше своих шестидесяти трёх.

— Марин, что случилось? — спросила она, глядя на моё лицо.

— Ничего, мам. Я нашла работу. Сегодня первый день. Максим побудет у тебя.

— Какую работу? — Она не верила. Она всегда не верила, когда я врала.

— Хорошую, — сказала я. — Платят больше.

— Марина, ты врёшь. Я вижу.

— Мам, пожалуйста, — сказала я. — Не сейчас.

Она замолчала. Взяла Максима за руку. Он сегодня почти не кашлял — только пару раз утром, глухо, будто изнутри. Температуры вроде не было. Или я просто не хотела её замечать.

— Ты вернёшься? — спросил Максим, когда я уже стояла в дверях.

— Конечно, — сказала я. — Я всегда возвращаюсь.

— Обещаешь?

— Обещаю.

Я поцеловала его в щёку — кожа была горячей, но я сказала себе, что это от одеяла, — погладила по голове и вышла. Дверь за мной закрылась с тихим щелчком, и мне показалось, что это щёлкнул замок, запечатывая мою старую жизнь.

Я шла к остановке и чувствовала, как внутри разрастается пустота. Не страх. Не боль. Пустота. Будто кто-то вырезал из меня все чувства и оставил только голую необходимость идти вперёд.

Такси я вызвала через приложение — последние деньги, которые были на карте. Пятьсот рублей до места. Обратно

— не знаю на что. Может быть, он даст мне денег на такси. Или у меня будет обратная дорога. Или не будет.

Водитель — молчаливый мужчина с усами, весь какой-то серый, под цвет утра — всю дорогу смотрел в зеркало заднего вида, будто проверял, не передумаю ли я. Я сидела на заднем сиденье, сжимая в руке сумку. Внутри — паспорт, трудовая книжка, конверт с тринадцатью тысячами (на всякий случай, хотя я не знала, какой случай может заставить меня достать их), телефон и тот клочок бумаги, на котором Надя написала адрес.

Я думала о том, как буду выглядеть. Брюки, блузка, туфли — всё то же, что и вчера. Волосы я распустила — Надя сказала, что так я выгляжу моложе. А ещё она сказала, что он не любит ярких.

«Ты не яркая, — сказала она. — Ты нормальная. Этого достаточно».

Достаточно для чего? Чтобы он согласился дать мне миллион? Чтобы я понравилась ему как женщина? Или чтобы он не убил меня на месте?

Я не знала.

Машина остановилась у серого здания. Бизнес-центр «Форпост». Ни вывесок, ни рекламы. Тонированные стёкла, камеры по периметру — я насчитала четыре только на фасаде, но наверняка их было больше. Домофон на железной двери. Вокруг — промзона, склады, пустыри. Ни одного случайного прохожего.

Я смотрела на это здание и чувствовала, как оно смотрит на меня в ответ. Сотнями глаз камер, темнотой тонированных окон, тяжестью железной двери.

— Приехали, — сказал водитель.

Я вышла. Февральский ветер ударил в лицо, бросил в меня горсть колючего снега. Я подошла к двери, нажала кнопку домофона. Палец дрожал, и я не могла понять — от холода или от страха.

— Я к Андрею Сергеевичу, — сказала я в динамик.

Молчание. Такое долгое, что я подумала — меня не услышали. Или слышали, но не пустят. Или это была ошибка, и Надя перепутала адрес, и я стою сейчас перед чужим офисом, и сейчас выйдет какой-нибудь охранник и прогонит меня, и я останусь ни с чем.

Потом щелчок. Дверь открылась.

Внутри было тепло и пахло дорогим табаком. Не сигаретным — каким-то другим, сладковато-пряным, с нотками вишни и чего-то древесного. Я никогда не курила, но этот запах показался мне почему-то опасным. Как будто сама атмосфера здесь была пропитана чем-то запретным.

Ресепшен — пустой. Ни секретарши, ни охраны. Только стойка из чёрного дерева, отполированная до зеркального блеска, и монитор на стене, на котором транслировались кадры с камер — я видела себя со спины, сбоку, сверху. Четыре ракурса. Меня снимали, и я не могла спрятаться.

— Лифт на пятый, — сказал голос из динамика. Бес-

страстный, мужской. Не тот, что вчера по телефону. Просто голос, лишённый интонаций.

Я подошла к лифту. Двери открылись сразу, будто меня ждали. Внутри — зеркала, кожаные поручни, запах того же табака. Я нажала кнопку «5». Лифт поехал медленно, будто давая мне время передумать.

Я не передумала.

Я смотрела на себя в зеркало — бледную, с тёмными кругами под глазами, с растрепавшимися на ветру волосами. «Ты выглядишь как привидение», — подумала я. И улыбнулась. Привидение, которое пришло просить деньги у живого.

Двери открылись, и я оказалась в коридоре. Длинном, тёмном, с дорогой отделкой — дерево, кожа, матовое стекло. На стенах — чёрно-белые фотографии города. Не открытки — снимки, на которых было что-то тревожное. Пустые улицы, ночные перекрёстки, тени, которые длиннее, чем должны быть. На полу — ковровая дорожка, которая заглушала шаги. Я шла, и казалось, что я не иду, а плыву. Бесшумно. Невесомо.

В конце коридора — двое.

Охранники. Я сразу их узнала — не по форме (на них были обычные чёрные костюмы), а по взглядам. Так смотрят только люди, которые привыкли оценивать угрозу. Их глаза прошли по мне с головы до ног, и я почувствовала себя прозрачной. Они видели мою сумку, мои туфли, мои дрожащие руки. Они видели страх.

Они были в чёрных костюмах, без галстуков. Короткие стрижки, мощные шеи, руки, которые держатся чуть в стороне от карманов — чтобы в любой момент достать оружие. Я не видела оружия, но знала, что оно есть. Оно всегда есть у таких людей.

Я остановилась в трёх метрах от них. Дальше не пошла — не потому, что испугалась, а потому что поняла: это граница. Дальше только с разрешения.

— Соболева? — спросил один, тот, что повыше. У него было лицо, которое могло быть красивым, если бы не шрам, пересекающий левую бровь.

— Да.

— Обыск, — сказал он. — Без обид.

Без обид.

Странные слова для человека, который собирается лапать меня в поисках оружия. У меня нет оружия. У меня никогда не было оружия. Моё оружие — это слёзы и мольбы, но они не работают в таких местах.

Я подняла руки — не потому, что меня попросили, а потому что в кино так делают. Охранник подошёл, быстро, профессионально провёл руками по моим бокам, ногам, спине. Я чувствовала его ладони через ткань блузки — тёплые, грубые. Он не задерживался там, где не надо, но всё равно было унижительно. Как будто меня вывернули наизнанку.

Проверил сумку — вытряхнул содержимое на столик у стены. Паспорт, трудовая, конверт, помада, ключи, несколько

ко монет.

— Что это? — спросил он, кивнув на конверт.

— Мои деньги, — сказала я. — Тринадцать тысяч.

Он посмотрел на меня, потом на конверт. Открыл, пересчитал. Я следила за его пальцами — толстыми, с обкусанными ногтями. Он пересчитывал медленно, будто наслаждаясь процессом.

— Тринадцать четыреста, — поправил он. — Не тринадцать.

— Я знаю, — сказала я.

Он кивнул. Вернул деньги в конверт, положил обратно в сумку. Кивнул второму.

— Чисто.

Второй охранник — коренастый, с лицом, которое когда-то было разбито в драке, — подошёл ко мне с металлоискателем. Провёл по спине, по ногам. Пискнуло на левой туфле — я вспомнила, что там железная пряжка.

— Раззуйтесь, — сказал он.

Я разулась. Он проверил туфли — заглянул внутрь, пощупал подошву. Вернул.

— Можете обуваться.

Я обулась. Руки дрожали. Не от страха — от унижения. Меня никогда не обыскивали. Я была законопослушной гражданкой, матерью-одиночкой, офисным планктоном. А сейчас стояла босиком на дорогом ковре перед двумя верзилами, которые смотрели на меня как на вещь.

— Проходите, — сказал первый охранник и открыл дверь в конце коридора.

Я вошла.

Кабинет был огромным.

Я не ожидала такого. Промзона, серые стены, охрана на входе — я думала, будет что-то вроде бункера. А здесь — панорамные окна от пола до потолка, дорогая мебель из тёмного дерева, кожаные кресла, на стенах — картины. Не репродукции, настоящие. Масло, тяжёлые рамы.

Я не разбираюсь в искусстве, но даже я поняла, что это дорого. Очень дорого. Такие вещи не вешают в офисах, где считают копейки. Их вешают там, где деньги перестали быть деньгами и стали просто фоном.

В углу — массивный письменный стол. За ним — кресло. В кресле — человек.

Он не встал, когда я вошла. Даже не поднял головы. Он что-то читал — бумаги в тонкой папке, — и его палец медленно водил по строчкам. Я стояла у двери, не зная, куда деть руки. Спрятать за спину? Сложить на груди? Я просто стояла, сжимая сумку, и смотрела на него.

В комнате было тихо. Так тихо, что я слышала, как тикают часы на стене. И как он переворачивает страницу. И как моё сердце колотится где-то в горле.

Зверь.

Я слышала эту кличку, видела размытые фото в телеграм-каналах, но реальность оказалась другой. Он не был похож на бандита из кино — никаких золотых цепей, перстней, кожаных курток. Он был одет в чёрную рубашку с закатанными рукавами и тёмные брюки. На правом запястье — часы. Дорогие, но без блеска. Всё в нём было без блеска.

Огромный.

Это слово пришло первым. Он был огромным. Не просто высоким — широкоплечим, массивным, тяжёлым. Даже сидя, он занимал половину пространства за столом. Шея — мощная, руки — как брёвна, но при этом никакой грубой массы. В нём чувствовалась сила, которая не нуждается в демонстрации.

Он не сутулился, не ёрзал. Он сидел абсолютно неподвижно, как статуя. И это было страшнее, чем если бы он расхаживал по кабинету и размахивал руками. Неподвижность таких людей — это признак контроля. Они не двигаются, потому что им не нужно. Мир движется вокруг них.

Ему было под сорок. Или около того. Лицо — породистое, с глубокими морщинами вокруг глаз и жёсткой линией рта. Скулы, прямой нос, щетина — не трёхдневная, как у меня, а ровно такая, какая бывает у мужчин, которые бреются раз в два дня, потому что так привыкли.

Я смотрела на его руки. Большие, с широкими ладонями, с пальцами, которые держали бумагу, но могли держать

и оружие. Или сжимать чью-то шею. На правой руке — татуировка, выглядывающая из-под рукава. Я не разглядела, что именно, но что-то тёмное, угловатое.

Глаза.

Когда он поднял голову, я поняла, почему его называли Зверем.

Серые. Ледяные. Бездонные. В них не было ни злобы, ни жестокости — по крайней мере, тех, что я могла бы распознать. В них была пустота. Такая пустота, которая засасывает. Как будто внутри этого человека давно погасли все огни, и теперь он действует на автомате, по древним, выжженным рефлексам.

Я смотрела в эти глаза и чувствовала, что проваливаюсь. Что там, в глубине, нет дна. Нет света. Нет ничего, что могло бы меня спасти.

Он смотрел на меня, и я чувствовала, как его взгляд сканирует моё лицо, фигуру, руки. Не раздевая — оценивая. Как товар.

— Соболева Марина Владимировна, — сказал он.

Не вопрос. Констатация.

— Да, — сказала я. Голос не дрогнул. Я удивилась себе.

— Садись.

Он кивнул на стул перед столом. Я подошла, села. Стул был низким — мне пришлось смотреть на него снизу вверх. Он это предусмотрел. Такой приём: ты сидишь ниже, чувствуешь себя меньше, слабее, уязвимее.

Я положила сумку на колени, сцепила пальцы. Ногти были обкусаны — привычка, от которой я не могла избавиться с детства. Сейчас я пожалела, что не накрасила их. Хотя бы для вида.

— Надя сказала, вы можете помочь, — начала я.

Он поднял руку. Жест — короткий, властный. Я замолчала.

— Я сам буду задавать вопросы, — сказал он.

Я кивнула.

Он открыл папку, которая лежала перед ним. Я увидела свою фотографию — ту, с паспорта. Уродливая, с нечёсаными волосами, с испуганными глазами. Рядом — какие-то бумаги, распечатки, цифры. Моя жизнь, разложенная по листам.

— Марина Владимировна Соболева, — начал он читать, не глядя на меня. — Тридцать один год. Родилась в этом городе. Образование высшее, экономический факультет. Разведена. Бывший муж — Илья Соболев, тридцать четыре года, работает менеджером по продажам в автосалоне. Алименты платит нерегулярно. За последние полгода перевёл двадцать три тысячи.

Я молчала. Внутри всё похолодело. Откуда он знает про алименты? Откуда у него эти цифры? Я никому не говорила. Даже Надя не знала точных сумм.

— Ребёнок, — продолжил он. — Максим Ильич Соболев, семь лет. Диагноз — новообразование в области брон-

хов, предположительно доброкачественное. Требуется операция. Стоимость — от миллиона трёхсот тысяч. Без учёта реабилитации.

Он поднял глаза. Встретился со мной взглядом.

— Всё верно?

— Да, — сказала я. Голос сел. Я откашлялась.

— Уволена вчера, — продолжал он. — По сокращению штатов. Получила расчёт — тринадцать тысяч восемьсот рублей. На руках — тринадцать тысяч четыреста. На карте — ноль. Кредитов нет, микрозаймов нет. Долгов, кроме коммунальных, — нет.

Он закрыл папку.

— Ты не берёшь в долг. Почему?

Я моргнула. Вопрос был неожиданным. Я ожидала, что он спросит про болезнь, про деньги, про то, готова ли я на всё. Но не это.

— Боюсь, — сказала я.

— Чего?

— Зависимости.

Он смотрел на меня. Долго. Так долго, что я начала считать удары сердца. Пять, десять, пятнадцать. В комнате было тихо, и мне казалось, что он тоже слышит этот стук.

— Умная, — сказал он наконец. — Это хорошо. Глупые быстро ломаются.

Он встал.

И вот тогда я поняла, что значит «огромный». Когда он

сидел, это было терпимо. Но когда он поднялся из-за стола и обошёл его, чтобы встать передо мной — небо закрылось. Я почувствовала себя ребёнком. Маленькой, беспомощной девочкой перед взрослым, который может сделать со мной что угодно.

Он был выше меня на голову. И шире в плечах раза в два. Я смотрела на него снизу вверх, и мне казалось, что если он поднимет руку, то закроет солнце.

Он подошёл к окну. Встал ко мне боком, сложил руки на груди. Свет с улицы падал на его лицо, и я увидела, что морщины вокруг глаз — это не от улыбки. Это от напряжения. От привычки постоянно быть настороже.

— Надя сказала, ты готова на всё, — произнёс он, глядя на город внизу.

— Да, — сказала я.

— Даже на то, о чём не догадываешься?

— Да.

Он повернулся. Посмотрел на меня сверху вниз.

— Я не даю деньги просто так, — сказал он. — Я не благотворительный фонд. Я не церковь. Я не банк. Я даю деньги под условия. Мои условия.

— Я готова, — повторила я.

— Не торопись, — он усмехнулся. Усмешка была кривой, безрадостной. — Ты ещё не слышала их.

Он отошёл от окна, подошёл к столу, сел на край. Теперь мы были почти на одном уровне. Почти.

— Я даю тебе миллион, — сказал он. — Не триста, не пятьсот. Миллион. Наличными. Завтра. Деньги пойдут на операцию твоего сына. Реабилитацию. Лекарства. Всё, что нужно.

У меня перехватило дыхание.

Миллион.

Я ожидала, что он даст часть, что мы будем торговаться, что он скажет «полмиллиона» или «семьсот тысяч». Но миллион — это полная сумма. Это операция. Это спасение.

Я почувствовала, как к горлу подступают слёзы. Не от благодарности — от облегчения. От того, что этот кошмар закончится. Что Максим будет жить.

— Что я должна сделать? — спросила я. Голос дрожал. Теперь уже от надежды.

Он посмотрел на меня. В его глазах мелькнуло что-то — может быть, удивление, может быть, уважение.

— Ты переезжаешь ко мне, — сказал он.

Я молчала. Слово повисло в воздухе.

— На месяц, — добавил он. — Тридцать дней. Ты живёшь в моём доме, подчиняешься моим правилам, делаешь то, что я скажу.

— Секс? — спросила я.

Это было первое, что пришло в голову. Обычно, когда мужчины говорят «переезжаешь ко мне», они имеют в виду именно это. Я готовилась к этому. Я сказала себе, что переступлю через это, что смогу. Но услышать это из его уст бы-

ло страшно.

Он усмехнулся снова.

— Если я захочу секса, ты его не избежишь, — сказал он.

— Но это не главное. Мне не нужна подстилка. Мне нужна... вещь.

— Что это значит?

— Это значит, что ты — моя. На месяц. Твоё тело, твоё время, твои мысли — всё принадлежит мне. Я решаю, когда ты спишь, когда ешь, что надеваешь. Ты не выходишь из дома без моего разрешения. Ты не пользуешься телефоном без моего ведома. Ты не видишься с сыном, кроме тех часов, которые я назначу.

— С сыном? — я вскинулась. — Вы сказали, что не трогаете детей.

— Я не трогаю, — спокойно ответил он. — Он будет жить у твоей матери. Ты сможешь его навещать. Два раза в неделю. По два часа. Не больше.

— Это мало, — сказала я.

— Это больше, чем я мог бы дать, — сказал он. — Не торгуйся. Ты не в том положении.

Я замолчала. Он прав. Я не в том положении. Я в том положении, когда мне говорят условия, а я киваю.

— Что ещё? — спросила я.

— Ты не задаёшь вопросов о моих делах. Не лезешь в мои разговоры. Не трогаешь мои вещи. Ты — мебель. Красивая, удобная, но мебель. Ты поняла?

Я поняла.

Он говорил это спокойно, ровно, без жестокости. Но от этого было только страшнее. Потому что если бы он кричал, угрожал, бил по столу — я бы знала, как реагировать. А так — он просто перечислял условия, как менеджер в банке перечисляет пункты кредитного договора.

— И последнее, — сказал он. — Ты не влюбляешься в меня.

Я чуть не рассмеялась.

— Не бойтесь, — сказала я. — Не влюблюсь.

Он посмотрел на меня долгим взглядом. В его глазах промелькнуло что-то — то ли сомнение, то ли предупреждение.

— Все так говорят, — сказал он. — Но бабы — дуры. Они цепляются. Им нужна семья, забота, любовь. У меня этого нет. Я не даю тепла. Я даю деньги. Если ты влюбишься — ты проиграла. Я вышвырну тебя без копейки, и операция не состоится.

— Я поняла, — сказала я.

— Повтори.

— Я не влюблюсь в вас, — сказала я, глядя ему в глаза. — Мне нужны деньги на операцию сына. Всё остальное не важно.

Он кивнул. Встал, подошёл к столу, открыл ящик, достал лист бумаги.

— Расписка, — сказал он. — Не банковская. Моя.

Я взяла лист. Бумага была плотной, дорогой — не та, на

которой печатают договоры в моей бывшей конторе. Текст был напечатан — короткий, без юридических терминов. Простым языком:

«Я, Соболева Марина Владимировна, обязуюсь проживать по адресу Андрея Сергеевича (далее — Кредитор) в течение 30 (тридцати) календарных дней, подчиняться установленным Кредитором правилам и не нарушать обозначенных ограничений. В обмен на выполнение условий Кредитор обязуется выплатить денежную сумму в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей на лечение сына Соболевой М.В. — Максима Ильича Соболева. В случае нарушения условий — сумма не выплачивается, обязательства аннулируются. Претензии не принимаются».

Ни подписи, ни печати. Ни его имени, ни фамилии. Просто «Андрей Сергеевич».

Я смотрела на этот лист и понимала, что это не расписка. Это приговор. Подписывая его, я отдаю ему месяц своей жизни. Месяц, в котором я не буду принадлежать себе.

— Ты не боишься, что я обману? — спросила я, поднимая глаза.

— Ты не обманешь, — сказал он. — Я вижу людей. Ты из тех, кто держит слово.

— А вы? — спросила я. — Вы держите слово?

Он смотрел на меня. В его ледяных глазах промелькнула тень — может быть, удивления. Никто не задавал ему такого вопроса. Или задавали, но потом жалели.

— Держу, — сказал он. — Я не вру. Это мой принцип.

Я взяла ручку, которая лежала на столе. Посмотрела на расписку. Потом на него.

— Я хочу одно изменение, — сказала я.

Он приподнял бровь.

— Если я нарушу правила — вы не имеете права лишать сына операции, — сказала я. — Деньги должны быть переведены в клинику авансом. До моего переезда. Я не переступлю порог вашего дома, пока деньги не поступят на счёт больницы.

— Ты смелая, — сказал он. — Или глупая.

— Я мать, — сказала я. — Это одно и то же.

Тишина. Он смотрел на меня, я — на него. Я не отвела взгляд. Внутри у меня всё тряслось, но я не моргала.

Он усмехнулся. Взял расписку, дописал от руки несколько слов: «Деньги переводятся до переезда. В случае нарушения обязательств со стороны Соболевой М.В. — сумма не возвращается, лечение сына не отменяется».

— Идёт? — спросил он.

— Идёт, — сказала я.

Я подписала расписку. Моя подпись — кривая, нервная, непохожая на ту, что в паспорте — легла рядом с его размашистым росчерком. Андрей Сергеевич. Даже фамилии нет.

Он взял лист, сложил пополам, убрал в ящик стола.

— Завтра деньги будут в клинике, — сказал он. — После-завтра — операция. Завтра вечером ты переезжаешь.

— А мои вещи? — спросила я.

— Только самое необходимое. Одежда, документы, телефон. Я куплю тебе всё, что нужно.

— Я не хочу, чтобы вы покупали мне вещи.

— Я сказал — переезжаешь ко мне. Ты носишь то, что я скажу, — он посмотрел на мою блузку, брюки, туфли. — Это не подходит.

Я промолчала.

— Вопросы есть? — спросил он.

— Почему вы помогаете мне? — спросила я. — Вы не знаете меня. Мы не родственники. Вы не благотворительный фонд, как вы сказали. Почему?

Это мучило меня больше всего. Зачем такому человеку, как он, связываться с такой, как я? Что ему нужно? Не секс — он сказал, что это не главное. Не любовь — он её запретил. Что тогда?

Он посмотрел на меня. На этот раз — дольше. Так долго, что я начала задыхаться. В комнате было тихо, и я слышала, как за окном воет ветер.

— Потому что я могу, — сказал он наконец. — Потому что я выбираю тех, кому помогаю. И я выбрал тебя.

— Почему?

— Не задавай вопросов.

Я замолчала.

Он подошёл к двери, открыл её. Охранники стояли снаружи, готовые выполнить любой приказ.

— Проводите её, — сказал он.

Я встала. Ноги были ватными — я не чувствовала их. Я взяла сумку, прошла мимо него к двери. На пороге остановилась. Хотела сказать что-то — спасибо, до свидания, я передумала. Но слова застряли в горле.

— Марина, — сказал он.

Я обернулась.

Он стоял в проёме, огромный, спокойный, с глазами-льдинками. Свет из окна падал на его лицо, и я вдруг заметила, что у него есть веснушки. Совсем светлые, почти незаметные на скулах. Отчего-то эта деталь поразила меня больше всего.

— С завтрашнего дня ты моя, — сказал он. — На месяц. Ты поняла?

— Поняла, — сказала я.

Я вышла в коридор. Охранники пошли за мной — до лифта. Я не оборачивалась. Но спиной чувствовала его взгляд. Тяжёлый, холодный, как февральский ветер.

Я вышла из здания, и меня вырвало.

Прямо в снег, у железной двери. Спазмы были сильными, болезненными — желудок сжался в комок, вытолкнул всё, чего не было. Я стояла на коленях в грязном февральском снегу, дрожала и не могла остановиться.

Охранник, который провожал меня до двери, не вышел. Наверное, видел такое не в первый раз.

Я вытерла рот тыльной стороной ладони, встала. В голове было пусто. Я смотрела на серое здание, на камеры по периметру, на пустырь напротив — и не могла поверить, что только что подписала контракт с дьяволом.

Я — его вещь.

На месяц.

Я — мебель. Красивая, удобная, но мебель.

Я должна буду жить в его доме, спать на его постели (или не спать, или спать одна — он не уточнил), есть, когда он разрешит, выходить, когда он скажет. Я не увижу Максима — только два часа два раза в неделю.

Я заплакала.

Не от страха. От отчаяния. От того, что моя жизнь превратилась в это. От того, что у меня не было выбора.

Слёзы текли по щекам, смешиваясь со снегом. Я стояла посреди пустыря, в незнакомом районе, с конвертом тринадцати тысяч в сумке и с распиской, которая превратила меня в рабыню.

Я достала телефон. Набрала Надю.

— Ну что? — спросила она. Голос у неё был напряжённый, она ждала этого звонка весь день.

— Я согласилась, — сказала я.

— Господи, Марина...

— Он переводит деньги завтра. Операция послезавтра.

— А ты?

— А я переезжаю к нему. На месяц.

— Ты... ты будешь с ним спать?

— Не знаю. Он сказал, что я — его вещь. Наверное, да.

Надя заплакала в трубку. Я слушала её слёзы и не могла заплакать сама. Слёзы кончились. Осталась только сухая, колючая решимость.

— Я должна это сделать, — сказала я. — Ради Максима.

— Я знаю, — всхлипнула Надя. — Просто... будь осторожна. Он опасный, Марина. Я не знаю, что он с тобой делает.

— Что бы он ни сделал, это лучше, чем смотреть, как умирает мой сын.

Я сбросила вызов, убрала телефон в карман, и пошла пешком. Денег на такси не было. До дома — час ходьбы. Холод, ветер, мокрый снег.

Я шла и думала о том, что через два дня Максим ляжет на операцию. А через три дня я проснусь в доме чудовища.

И я не знала, что страшнее — болезнь сына или жизнь, которая меня ждала.

Но я знала, что отступать некуда.

Я шла по пустым февральским улицам, сжимая в кармане ключи от съёмной квартиры, и повторяла про себя, как мантру: «Только бы Максим выжил. Только бы Максим выжил».

Ветер бросал в лицо колючий снег, но я не чувствовала холода. Внутри у меня была пустота, и она горела.

Глава 3

Я вернулась домой в половине четвёртого.

Ноги гудели — час ходьбы по февральскому городу, по гололёду и мокрому снегу, в туфлях на низком каблуке, которые промокли ещё на первой остановке. Я разулась у порога, поставила мокрые туфли на батарею, прошла на кухню.

В квартире было тихо. Мама ушла — оставила записку на холодильнике: «Максим спит, температура 37,8. Я ушла в аптеку за сиропом. Не буди его».

Я прислонилась лбом к холодному холодильнику и стояла так минуту, две, три. В голове — пустота. Такая же белая, как снег за окном. Ни мыслей, ни чувств. Только тяжесть в теле и где-то глубоко внутри — маленький, тлеющий уголёк страха.

Я подписала бумагу.

Не банковскую. Не юридическую. А ту, что делает меня вещью на тридцать дней.

Я достала из сумки копию — он дал её мне перед выходом, сунул в руку вместе с визиткой, на которой было написано только имя: «Андрей Сергеевич» и номер телефона. Я перечитала текст в пятый раз. Те же слова. Те же условия.

«В случае нарушения условий — сумма не выплачивается, обязательства аннулируются».

Одно моё неверное движение — и Максим умрёт.

Я сжала листок, порвала его. Мелкие клочки бумаги упали в мусорное ведро. Я не хотела, чтобы мама случайно нашла это. Не хотела, чтобы кто-то знал, на что я согласилась.

Но я знала. И это знание жгло изнутри, как кислота. Зазвонил телефон. Номер незнакомый.

— Соболева? — голос низкий, спокойный. Я узнала его сразу.

— Да.

— Деньги переведены в клинику. Пять минут назад. Можешь позвонить, проверить.

Я не поверила. Набрала номер больницы. Секретарь на том конце сказала:

— Да, поступление от... — она запнулась, — от благотворителя. Полная сумма. Операция назначена на послезавтра, в десять утра.

Я положила трубку. Села на табуретку. Руки тряслись. Он сдержал слово.

Дьявол сдержал слово.

Теперь настала моя очередь.

Я сидела на кухне, смотрела на свои дрожащие руки и думала о том, как быстро жизнь ускоряется перед падением. Ещё утром я была просто Мариной — уволенной, напуганной, но свободной. А теперь я — чья-то вещь. И этот кто-то только что перевёл миллион рублей на спасение моего сына.

Миллион.

Я никогда не держала в руках таких денег. Я никогда даже

не видела их вживую. А он перевёл их, не моргнув глазом, как будто это не миллион, а тысяча рублей на продукты.

Кто он? Откуда у него столько денег? Сколько ещё таких, как я, прошли через его руки?

Я не хотела знать ответы. Потому что ответы сделали бы это невозможным.

Мама вернулась через час. Я слышала, как она возится в прихожей, снимает пальто, шарф, шапку. Потом её шаги — тихие, осторожные — направились на кухню.

Она остановилась в дверях, посмотрела на меня.

Я сидела за столом, сжимая кружку с остывшим чаем. Волосы ещё не высохли после прогулки, блузка мятая, под глазами — круги. Я выглядела так, как будто меня переехало поездом.

— Марина, — сказала она. — Что случилось?

— Ничего, — сказала я. — Всё хорошо.

— Ты врёшь.

— Мам, пожалуйста...

— Не начинай, — она подошла, села напротив. Её лицо — морщинистое, усталое — было сейчас очень серьёзным. — Я не слепая. Ты ушла утром, вернулась через три часа, вся дрожишь. Что случилось?

Я смотрела на неё и понимала, что должна сказать правду.

Не всю — часть. Ту, которую она сможет переварить.

— Я нашла деньги на операцию, — сказала я.

Мама замерла.

— Какие деньги? Откуда?

— Один человек... помогает. Благотворитель.

— Кто?

— Не важно, мам. Важно, что завтра Максима кладут в больницу, послезавтра операция. Всё оплачено.

— Сколько?

— Миллион.

Мама побледнела. Она сжала край стола так, что побелели костяшки.

— Откуда у какого-то благотворителя миллион? — спросила она шёпотом. — Марина, ты вляпалась во что-то?

— Нет, — сказала я слишком быстро. — Всё законно. Я подписала договор.

— Какой договор?

— Я... я буду работать на него. Месяц. Помогать по дому, готовить, убирать. Он платит миллион. Всё честно.

Я врала, и мама это знала. Она смотрела на меня своими выцветшими глазами, и в них читалось недоверие, боль, страх.

— Ты не умеешь врать, дочка, — сказала она. — Ты всегда не умела.

— Мам, — я взяла её руки в свои. Они были холодными, шершавыми. — Пожалуйста. Не задавай вопросов. Просто...

присмотри за Максимом. На месяц. Я буду приезжать два раза в неделю.

— Куда ты уезжаешь?

— К нему. В другой город.

— В какой?

— Я не знаю.

Мама заплакала. Тихо, без всхлипов — только слёзы текли по морщинистым щекам.

— Ты моя девочка, — сказала она. — Моя единственная. И ты уходишь к чужому мужику за деньги. Я правильно поняла?

— Мам...

— Я не осуждаю, — она вытерла слёзы тыльной стороной ладони. — Я просто хочу знать, вернёшься ли ты.

— Вернусь, — сказала я. — Через месяц. Обещаю.

Она не поверила. Но кивнула.

— Тогда иди. Собирайся. А я пока разбужу Максима, покормлю.

Она встала, вышла из кухни. Я слышала, как она остановилась в коридоре — наверное, прислонилась к стене, чтобы не упасть. Потом её шаги затихли в комнате Максима.

Я осталась одна.

Максим проснулся в шесть вечера.

Я зашла к нему в комнату, когда он уже сидел на кровати, взъерошенный, сонный. Температура спала — лоб был прохладным. Он улыбнулся мне своей редкой улыбкой, в которой не хватало двух передних зубов.

— Мам, а мы будем смотреть мультики?

— Будем, — сказала я, садясь рядом. — Но сначала я хочу тебе кое-что сказать.

Он насторожился. Дети чувствуют серьёзность раньше, чем взрослые произносят первые слова.

— Ты поедешь завтра в больницу, — сказала я. — Там тебе сделают операцию. И ты выздоровеешь. Навсегда.

— А ты будешь со мной?

— Не сразу, — я погладила его по голове. — Я уеду на месяц. По работе. Но бабушка будет с тобой. И я буду приезжать. Два раза в неделю.

— Почему ты уезжаешь? — спросил он. Губы задрожали.

— Потому что нужно заработать деньги, — сказала я. — Чтобы мы могли жить дальше. Чтобы ты мог покупать игрушки и ходить в кино.

— А папа?

— Папа... папа не может помочь.

Я не стала говорить, что бывший муж даже не взял трубку, когда я звонила ему вчера вечером. Что я оставила сообщение: «Максиму нужна операция, он может умереть», — а он не перезвонил. Не написал. Ничего.

Максим замолчал. Потом сказал:

— Ты вернёшься?

— Обязательно.

— Обещаешь?

Я посмотрела в его глаза — карие, как у меня, с длинными ресницами, которые делали его похожим на девочку.

— Обещаю, — сказала я.

Мы обнялись. Он был маленьким, тёплым, пах молоком и сном. Я вдохнула этот запах, чтобы запомнить. На месяц.

На тридцать дней, которые будут длиться вечность.

Мы смотрели мультики до девяти. «Холодное сердце» — его любимый. Я сидела рядом, держала его за руку, и смотрела не на экран, а на него. Запоминала каждую чёрточку: родинку за правым ухом, ямочку на подбородке, шрам на коленке — упал с велосипеда прошлым летом.

Он смеялся над Олафом — снеговиком, который мечтал о лете. Смеялся и кашлял. Каждый приступ кашля отдавался во мне острой болью.

— Мам, а у Олафа нет лёгких, — сказал он вдруг. — Поэтому он не болеет.

— Поэтому, — улыбнулась я, хотя внутри всё сжалось.

— А у меня есть лёгкие, и я болею. Но после операции я перестану?

— Да, малыш. После операции ты перестанешь.

— А ты будешь там? В больнице?

— Бабушка будет. А я приеду. Как только смогу.

Он кивнул. Кажется, поверил.

В девять он уснул. Прямо во время мультфильма — голова откинулась назад, рот приоткрылся. Я выключила телевизор, поправила одеяло, поцеловала его в лоб.

— Спи, мой хороший, — прошептала я. — Скоро всё закончится.

Я вышла из комнаты и закрыла дверь. Знала, что не смогу зайти снова. Если я зайду — не уйду.

Я собиралась быстро.

Мама сидела на кухне, пила валерьянку и смотрела в стену. Я ходила по квартире, складывая вещи в старую спортивную сумку, которую брала в тренажёрный зал ещё до развода.

Что взять с собой в логово зверя?

Джинсы — одни. Свитер — один, тёплый. Футболки — две. Бельё — на неделю. Зарядка для телефона. Паспорт. Зубная щётка. Пачка прокладок — на всякий случай.

Я остановилась перед шкафом, где висело моё единственное платье — чёрное, купленное на выпускной в университете одиннадцать лет назад. Я не надевала его ни разу после того вечера. Слишком нарядное для офиса, слишком вызывающее для похода в магазин.

Я взяла его. Поддержала в руках. Тонкая ткань, кружево по краю.

Зачем оно мне там? Он сказал, что купит всё, что нужно. Сказал, что моя одежда «не подходит».

Я положила платье обратно.

Потом достала снова.

Я не знала, зачем оно мне. Может быть, чтобы не забыть, что когда-то я была девушкой, которая мечтала о красивой жизни. До развода. До болезни Максима. До того, как жизнь стала одной большой борьбой за выживание.

Я положила платье в сумку.

Потом вытащила.

Потом снова положила.

— Ты как заведённая, — сказала мама из кухни. — Прекрати.

Я оставила платье.

Я смотрела на эту скромную кучку вещей и думала о том, как быстро жизнь может превратиться в одну сумку. Всё моё прошлое — муж, работа, мечты — уместилось в старый рюкзак и спортивную сумку.

Я положила сверху фотографию Максима. Ту, где он в первый раз пошёл в школу — с огромным букетом, в белой рубашке, которая была ему велика. Улыбается, щурится на солнце.

— Всё, — сказала я, выходя на кухню. — Я готова.

Мама подняла голову. Глаза красные.

— Машина приедет?

— Да. В десять.

— Ты знаешь, где ты будешь жить?

— Нет.

— Знаешь, кто он?

— Нет.

— Марина, — мама встала, подошла ко мне, взяла за плечи. — Ты дура. Ты всегда была дурой. Сначала вышла замуж за этого козла, теперь...

— Мам, — я перебила её. — Пожалуйста. Не сейчас. Я не выдержу.

Она замолчала. Потом обняла меня. Крепко, по-матерински — так, что захрустели кости.

— Возвращайся, — прошептала она мне в ухо. — Пожалуйста. Возвращайся живой.

— Вернусь, — сказала я. — Обещаю.

В десять вечера за окном заурчал двигатель. Чёрный джип с тонированными стёклами.

Я взяла сумку, надела куртку. У двери обернулась. Мама стояла в коридоре, сжимая в руках кружку с валерьянкой. За её спиной — дверь в комнату Максима. За ней — мой сын. Мой мир. Моя причина дышать.

— Я люблю вас, — сказала я.

— Мы тебя тоже, — сказала мама.

Я вышла.

В машине было тепло и пахло кожей.

Водитель — молодой парень с короткой стрижкой — не сказал ни слова. Он просто кивнул, когда я села на заднее сиденье, и нажал на газ.

Я смотрела в окно на знакомые улицы. Вот наш двор, где Максим учился кататься на самокате. Вот школа — тёмная, пустая. Вот магазин, где я покупала хлеб по утрам.

Город кончился быстро. Началась трасса. Тёмная, бесконечная, с редкими фонарями, которые выхватывали из темноты куски мокрого асфальта.

— Мы далеко едем? — спросила я.

— Час, — ответил водитель.

Я кивнула, откинулась на сиденье.

Час.

Шестьдесят минут. Три тысячи шестьсот секунд. За это время я могла бы передумать тысячу раз. Попросить водителя развернуться. Вернуться домой. Обнять Максима и сказать: «Прости, я не могу».

Но тогда он умрёт.

Я закрыла глаза, и перед внутренним взором снова встало лицо Зверя. Ледяные глаза. Спокойная, почти ленивая улыбка. Он знал, что я приду. Он знал, что я соглашусь. Он знал всё с самого начала.

Что он со мной сделает? Будет бить? Насиловать? Или просто закроет в комнате и будет кормить, как собаку?

Я не знала. Я ничего о нём не знала. Только то, что он

Зверь. Что он убивает. Что его боятся.

Телефон завибрировал. Сообщение от Нади: «Ты где?»

Я набрала ответ: «Еду к нему. Прости, что не попрощалась. Присмотри за мамой, если сможешь».

Ответ пришёл через минуту: «Береги себя. Я буду молиться за тебя».

Я не верила в бога. Но сейчас я была готова молиться кому угодно.

Час растянулся в вечность.

Наконец машина свернула с трассы, проехала через шлагбаум, мимо будки охраны. Потом — длинная аллея, деревья по бокам, снег, фонари. И дом.

Я не ожидала, что это будет дом.

Не бункер, не особняк из криминальных сериалов — нормальный дом. Большой, трёхэтажный, но без вычурности. Кирпич, тёмное дерево, большие окна. Внутри горел свет — тёплый, жёлтый.

Машина остановилась у крыльца.

— Приехали, — сказал водитель.

Я вышла. Снег скрипел под ногами. Воздух был холодным и чистым — пахло хвоей и морозом.

Дверь открылась, прежде чем я успела постучать.

На пороге стоял он.

Дома он был другим.

В офисе — за столом, в галстучной тишине — он казался частью механизма. Частью той машины, которая перемалывает людей. Здесь, в дверях собственного дома, в простой чёрной футболке и домашних штанах, он выглядел... почти обычным.

Почти.

Потому что глаза остались теми же. Ледяными. Пустыми. — Входи, — сказал он, отступая вглубь коридора.

Я переступила порог.

Внутри было тепло и пахло деревом — дорогой мебелью, может быть, камином. Прихожая — огромная, с вешалками из тёмного дуба, с зеркалом в полный рост. Я увидела себя в зеркале — бледную, растрёпанную, с чужой сумкой в руке.

— Обувайся, — сказал он, кивнув на коврик.

Я разулась. Носки промокли — в туфлях была вода. Я стояла босиком на холодном полу, чувствуя себя ещё более уязвимой.

— Пройдём, — сказал он и пошёл вперёд.

Я за ним.

Коридор был длинным, с высокими потолками. На стенах — картины. Не репродукции — настоящие масло. Пейзажи, портреты, натюрморты. В конце коридора — лестница на второй этаж.

— Твоя комната на втором, — сказал он, не оборачиваясь. — Слева по коридору, третья дверь.

— А вы... где вы спите? — спросила я.

Он остановился. Повернулся. Посмотрел на меня сверху вниз.

— В конце коридора. Первая дверь.

Я кивнула.

— Правила, — сказал он. — Слушай внимательно. Я не буду повторять.

Я замерла.

— Первое: ты не выходишь из дома без моего разрешения. Второе: ты не звонишь никому, кроме матери и больницы. Третье: ты не трогаешь мои вещи. Четвёртое: ты не заходишь в мой кабинет без стука. Пятое: дверь в твоей комнате не закрывается.

— Почему? — спросила я.

— Потому что я так сказал.

Я промолчала.

— Завтра в восемь утра ты спускаешься на кухню. Завтрак. В девять я уезжаю. В течение дня ты можешь делать что хочешь — но в пределах дома. Телевизор, книги, интернет — всё есть. В семь вечера — ужин. Я приезжаю в разное время, но к семи ты должна быть на кухне.

— Поняла, — сказала я.

— Вопросы есть?

— Я могу видеть сына?

— Два раза в неделю. По вторникам и пятницам. С трёх до пяти. Машина отвезёт тебя в больницу и привезёт обратно.

— Спасибо, — сказала я.

Он посмотрел на меня странно. Как будто не ожидал благодарности.

— Поднимайся, — сказал он. — Завтра рано вставать.

Он повернулся и ушёл вглубь коридора. Я слышала его шаги — тяжёлые, уверенные — потом скрип двери, и тишина.

Я осталась одна в огромной прихожей, босиком на холодном полу, с сумкой в руке.

Я нашла свою комнату.

Третья дверь слева. Я открыла её, включила свет.

Комната была красивой. Не похожей на комнату для вещи — скорее на комнату для гостя, которую уважают. Большая кровать с белым бельём, прикроватная тумба, шкаф-купе, письменный стол, кресло у окна. На полу — мягкий ковёр. На стенах — светлые обои.

Я поставила сумку на кровать, огляделась.

Дверь.

Я подошла к ней, проверила. Замка не было. Даже защёлки. Только ручка — гладкая, блестящая — и маленькая скважина, в которую можно было заглянуть с другой стороны.

Он будет смотреть на меня ночью?

Я закрыла дверь. Она не фиксировалась — просто приле-

гала к косяку. Любое дуновение могло её открыть.

Я прислонилась спиной к стене, сползла на пол. Коленями к груди, руками обхватив ноги.

Страх накрыл меня с головой.

Не тот страх, который был в офисе — острый, сконцентрированный. Этот был другим. Тягучим, липким, как смола. Он заполнял лёгкие, мешал дышать, заставлял сердце биться где-то в горле.

Я — в его доме. Я — его вещь. Дверь не закрывается.

Если он захочет войти — он войдёт. Если он захочет сделать со мной что-то — сделает. И я ничего не смогу с этим поделать. Потому что я подписала бумагу. Потому что я согласилась. Потому что у меня не было выбора.

Я заплакала.

Тихо, чтобы он не услышал. Слёзы текли по щекам, падали на джинсы, на руки. Я сжимала пальцы в кулаки, впиваясь ногтями в ладони, и думала о Максиме.

Он завтра ляжет в больницу. Послезавтра — операция. Ему будет страшно, больно, одиноко. А меня не будет рядом.

Я — мать, которая бросает больного ребёнка ради денег от бандита.

Какая же я мать после этого?

Я не знала. Я ничего не знала. Я знала только, что если я сейчас встану, выйду из комнаты, попрошусь домой — Максим умрёт. А если останусь — может быть, он выживет.

Я выбрала «может быть».

Я не помню, как уснула.

Наверное, организм просто отключился — слишком много стресса за последние два дня. Я очнулась на кровати, в темноте, и не поняла, где я. Потолок — чужой, стены — чужие, запах — чужой.

Потом вспомнила.

Сердце заколотилось. Я села, прислушалась.

Тишина.

Но какая-то странная — не такая, как дома. Дома всегда слышно, как работает холодильник, как шумят батареи, как Максим дышит в соседней комнате. Здесь — полная, абсолютная тишина. Будто мир замер.

Я посмотрела на дверь.

Она была приоткрыта.

Я точно закрывала её перед сном. Но сейчас она была открыта сантиметров на десять — тёмная щель, в которой ничего не было видно.

Может быть, сквозняк? Или я плохо закрыла?

Я встала, подошла к двери, прислушалась. За дверью — тишина. Ни шагов, ни дыхания.

Я закрыла дверь — плотно, до упора. Вернулась в кровать, легла, натянула одеяло до подбородка.

Через пять минут дверь снова приоткрылась.

Я видела это — в слабом свете, который пробивался из окна. Она медленно, бесшумно отъехала в сторону, открывая проход.

Я замерла.

Сквозняка не было. Я проверила — окно закрыто, форточка закручена.

Значит, он.

Он открывает дверь. Он смотрит. Он проверяет.

Я не пошла закрывать снова. Я лежала, глядя на эту тёмную щель, и ждала. Что он войдёт. Что сделает что-то.

Ничего.

Минута, две, пять. Тишина. Ни шагов, ни звука.

Потом — скрип половицы в коридоре. Один шаг. Второй. Третий. Они удалялись — к его комнате.

Дверь в конце коридора закрылась. Тихий щелчок.

Я выдохнула. Не поняла — от облегчения или от страха.

Он не вошёл. Он просто открыл дверь и ушёл.

Зачем?

Я не знала. Но я знала, что следующую ночь я буду лежать с открытыми глазами и слушать, как дышит темнота за дверью.

Я не закрыла дверь снова. Бесполезно. Он хотел, чтобы она была открыта. И она была открыта.

Я лежала, смотрела на тёмный проём и думала о том, что моя жизнь теперь принадлежит не мне.

И что через месяц — ровно через тридцать дней — я

должна буду вспомнить, кто я.

Если не забуду.

Добавленная сцена (расширение ночи)

Ближе к трём часам утра я не выдержала.

Я встала с кровати, босиком, в одной футболке, и подошла к двери. Толкнула её. Она открылась бесшумно — петли были смазаны.

Коридор тонул в темноте. Где-то в конце, у его комнаты, горел тусклый ночник — выхватывал из мрака край ковровой дорожки и угол картины на стене.

Я сделала шаг. Потом второй.

Пол был холодным — холод пробирался сквозь носки, поднимался по ногам, по позвоночнику. Я шла на цыпочках, боясь дышать. Сама не знала, зачем. Может быть, хотела увидеть. Может быть, хотела убедиться, что он не призрак, не плод моего больного воображения.

Я остановилась у его двери.

Она была закрыта. Не заперта — я проверила ручку, она поддалась на миллиметр, — но закрыта. Из-за двери не доносилось ни звука.

Я стояла, прижавшись лбом к холодному дереву, и слушала.

Тишина.

И вдруг — внутри что-то щёлкнуло. Не замок. Что-то другое. Металлическое. Короткое, резкое.

Я отпрянула, замерла.

Потом — шаги. Тяжёлые, но не спешащие. Он шёл к двери.

Я бросилась назад, скользя носками по паркету, влетела в свою комнату, юркнула под одеяло. Сердце колотилось так, что, казалось, его слышно во всём доме.

Дверь в коридоре не открылась.

Я пролежала так до утра, не двигаясь, с открытыми глазами.

Никто не вошёл.

Но я знала — он знал. Он слышал мои шаги. Он знал, что я стояла у его двери.

И ничего не сделал.

Почему?

Я не спала больше.

В шесть утра встала, подошла к окну. За ним — лес. Сосны, берёзы, снег. Ни одного соседнего дома. Только деревья, дорога и высокий забор с колючей проволокой.

Я стояла у окна, смотрела на рассвет — бледно-розовый, зимний — и чувствовала, как внутри постепенно затихает паника.

Он не тронул меня ночью.

Он знал, что я ходила к его двери. Он мог бы выйти. Мог

бы спросить, что я делаю. Мог бы наказать за нарушение негласной границы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.